



Б. Н. ЧИЧЕРИН

Воспоминания

Москва сороковых годов
<фрагмент>

<...> Кроме своих друзей и кружка «Русского вестника», я в это время часто видался и с славянофилами. Кошелев, который с Павловым был давнишний приятель, очень меня обласкал и зазвал к себе. У него еженедельно собирались по вечерам, и тут, в течение двух зим, происходили бесконечные споры.

Отношение славянофилов к западникам состояло вовсе не в противоположности учений. Из предыдущего можно видеть, что у так называемых западников никакого общего учения не было. В этом направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями: искренно православные и отвергавшие всякую религию, приверженцы метафизики и последователи опыта, социал-демократы и умеренные либералы, поклонники государства и защитники чистого индивидуализма. Всех их соединяло одно: уважение к науке и просвещению. И то другое, очевидно, можно было получить только на Западе, а потому они сближение с Западом считали великим и счастливым событием в русской истории. При этом они вполне признавали, что когда младенческий народ приходит в соприкосновение с высшею цивилизацией, он сначала усваивает себе преимущественно внешние формы, иногда с большим легкомыслием; но лекарство от этого зла они видели в более глубоком понимании и усвоении плодов просвещения, а никак не в возвращении к отжившей старине. Славянофилы, напротив, выработали весьма определенное учение, которое разделялось ими всеми. Это была настоящая секта. В основании лежали возвышенные и верные начала: глубокое нравственно-религиозное чувство и пламенный патриотизм; но то и другое искажалось преувеличением, узкостью и исключительностью.

По их теории источник всякого просвещения заключается в религии: и наука и искусство от нее получают свои верховные

начала. Западный мир развивался под влиянием двух оторвавшихся от истинного корня отраслей христианства: католицизма, свойственного романским племенам, и протестантизма, составляющего принадлежность племен германских. Эти две противоположные крайности одинаково удаляются от цельной христианской истины, хранимой Православною Церковью. Последняя представляет высшее единство противоположностей, вследствие чего она призвана создать из себя новую, высшую цивилизацию. Развитие Запада закончило свой круговорот и дало из себя все, что могло дать; ныне это не более как разлагающееся тело, которое должно уступить место новым, живым силам, лежащим в православном русском народе. Подобно тому как греко-римский мир исчез в историческом процессе и передал знамя человеческого просвещения германцам, созданный последними западный мир должен в свою очередь уступить это знамя новому историческому деятелю, имеющему высшее призвание, — России. Но, чтобы исполнить свое назначение, русский народ должен крепко держаться своих собственных начал. В новейшее время народное самосознание в нем помрачилось. Вследствие пагубного переворота, совершенного Петром Великим, высшие классы оторвались от родной почвы и примкнули к низшей, западной цивилизации. Истинно русские начала сохранились только в простом народе. Возвести эти начала в высшую, сознательную форму, пробудить в русском обществе затмившееся народное самосознание — такова должна быть цель русской мысли и литературы, и в этом состоит задача славянофильства.

Таким образом, в этом учении русский народ представлялся солью земли, высшим цветом человечества. Без упорной умственной работы, без исторической борьбы, просто вследствие того, что он от дряхлевшей Византии получил православие, он становился избранником Божиим, призванным возвестить миру новые, неведомые дотоле начала. И среди этого народа носителем его самосознания являлся маленький кружок славянофилов, которые выступали как пророки будущего и обличители современного человечества. Они возносились на недостижимую высоту, с которой они в безграничном самоуслаждении презрительно смотрели на гниющий западный мир и на жалких поклонников этой отживающей свой век цивилизации. И патриотизм, и религиозное чувство, и народное самолюбие, и личное тщеславие — все тут удовлетворялось. Но, конечно, все это было не более как чистое фантазерство, лишенное всякого научного, как исторического, так и философского основания. Ни один серьезный ученый не мог примкнуть к этому направлению, которое, по самому существу своему, в научном отноше-

нии осталось бесплодным. Даже по древней русской истории, на которой сосредоточивалась вся их любовь, славянофилы не произвели ничего дельного. С трудом можно указать на серьезное исследование, вышедшее из их школы. Все основательные работы, имеющие действительно научное значение, принадлежат их противникам. Славянофильское учение было произведением досужих московских бар, дилетантов в науке, которые думали упорный труд и зрелую мысль заменить виртуозностью и умственную гимнастику, создавая себе привилегированное умственное положение с помощью салонных разговоров и журнальных статей. Значение их в истории русской мысли состояло единственно в том, что они возбуждали прения; но это более чем искупалось вредною стороною их деятельности, тем, что они сбивали с толку неприспособленные умы, которые ослеплялись блеском софистики и увлекались обаянием ходульного патриотизма. Никакого самосознания в русском обществе они не пробудили, а, напротив, охлаждали патриотические чувства тех, которые возмущались нелепым превознесением русского невежества над европейским образованием. Нет ничего, что бы так вредило всякому делу, как безрассудное преувеличение. Я сам на себе испытал, до какой степени прирожденная мне любовь к отечеству, составлявшая одно из самых заветных чувств моей жизни, страдала от необходимости вести войну с славянофилами. Приходилось напирать на темные стороны нашего быта, чтобы побороть то высокомерное презрение, с которым они относились к тому, что нам было всего полезнее и что одно способно было вывести нас из окружающего нас мрака. Ни одной путной мысли о так называемых русских началах они не высказали, а рассеяли только множество кривых воззрений, которые немало содействовали господствующему ныне умственному хаосу. В практическом же отношении лучшие из них легко сходились с западниками, ибо цель у тех и других была одна: расширение свободы. Поэтому, когда наступила пора практической деятельности, теоретические различия сгладились и споры умолкли.

Основателями славянофильского учения были Иван Васильевич Киреевский и Хомяков. К сожалению, я Киреевского не знал. Он умер в 1856 году, именно в то время, когда я ближе познакомился с славянофилами. Но я от многих о нем слышал как о самом симпатическом члене славянофильского кружка. С кротким и мягким характером он соединял большую задушевность, значительный ум и широкое литературное образование, которое как-то плохо клеилось с странностью его воззрений. Я уже говорил, как он, будучи в молодости ярым последовате-

лем Шеллинга, вслед за своим учителем перешел к религиозному мирозерцанию. Однако он не примкнул к католицизму. Усвоив себе еретические воззрения мюнхенской реакционной школы и отзываясь с сочувствием о новой философии Шеллинга, от которой он ожидал поворота в западной философии, сам он углубился в православную мистику. Ополчаясь против рационализма, так же как западные мыслители богословской школы, он искал его корней не в протесте Лютера, а дальше, в учении самой Католической церкви, которую он обвинял в том, что она поставила силлогизм на место живого единения любви: обвинение ложное, ибо, в противоположность Православной Церкви, преобладающим элементом в католицизме является начало власти, а вовсе не силлогизм. Исходя из этих начал, Киреевский хотел и в философии заменить логический анализ цельным воззрением, вытекающим из совокупности человеческих способностей. Вследствие этого он оклеветанных, по его мнению, мистиков признавал глубочайшими мыслителями, единственными постигавшими истину в ее полноте. С этой точки зрения он излагал всю историю философии, древней и новой, уверяя, что все западное мышление развивалось под исключительным влиянием Аристотеля, того из греческих философов, который, по его определению, представлял не более как посредственную обыкновенность. Во всем этом, конечно, не было ни тени научной истины. На лету схваченные явления освещались ложным светом и извращались в угоду фантастической теории, которой все достоинство заключалось в изящном изложении. Едва ли бы эти кабинетные измышления тихого и скромного Киреевского нашли себе приверженцев, если бы те же самые мысли с большим блеском и с большею настойчивостью не стал проповедовать Хомяков.

Хомяков был истинным главою партии. У него были все нужные для того свойства: определенность мысли, удивительная находчивость и изворотливость, дар слова, способность убеждать и притягивать к себе людей, а вместе и те отрицательные качества, которые нередко обеспечивают успех. Он представлял необыкновенное сочетание силы, ума и самой беззастенчивой софистики, глубины чувства и легкомысленного шарлатанства. Друзья его видели только первую сторону, хотя иногда с улыбкою признавали его слабости; враги же обращали внимание преимущественно на вторую. Потому о нем выражались самые противоположные суждения со стороны людей, близко его знавших. Настоящее лицо составлялось из обоих. В молодости он славился как поэт. Но стих его, всегда тщательно и изящно отделанный, был вообще холоден и безжизнен. Тургенев рас-

сказывал, что однажды в споре с Аксаковым он утверждал, что у Хомякова нет даже искры поэтического дарования, и, взявши в руку книгу его стихотворений, доказал им, что все у него сочиненное, а не выливающееся из души, как у истинного поэта. Однако под старость у него в стихах выражалось иногда глубокое религиозное чувство, а также патриотическое одушевление, которое, в соединении с блеском образов, поднимало его до поэзии. Его скорбно-патриотические стихи по поводу Крымской кампании облетели всю Россию¹.

Но на старости лет Хомяков не пленялся уже славою поэта. Ему не только хотелось быть мыслителем и ученым, но он положительно считал себя всеведущим. Не было пустого и мелкого вопроса, о котором бы он не толковал с видом знатока. «Я специалист во всем», — говорил бывший тамбовский губернский предводитель Никифоров; это изречение можно было вполне приложить к Хомякову. Книги он глотал, как пилюли. Его друзья говорили, что ему достаточно одной ночи, чтобы усвоить себе самое глубокомысленное сочинение. Разумеется, таково было и чтение. Когда пошли толки о гегелизме, Хомяков заперся на несколько дней с «Логикой» Гегеля и затем, вышедши из своего уединения, объявил, что он перегрыз четверик свищей. Однако он с этими свищами обращался очень ловко и осторожно. Он утверждал, что в «Логике» все так связано и выведено с такою последовательностью, что, признавши первое положение, тождество чистого бытия и небытия, все остальное вытекает из него необходимым образом. Коренная ошибка заключается именно в этом первом положении, далее которого Хомяков и не шел в своих бесконечных спорах о гегелизме. Так же обходился он и со всем остальным. Он знал множество названий книг, из каждой схватывал что-нибудь на лету и из всего этого делал удивительный винегрет. В статье о русской художественной школе говорилось и о всеобщей истории, и о винокурении, и об укатывании зимних дорог². У него был рецепт на все, и все эти рецепты он соединял в общую микстуру, которая должна была служить к вящему возвеличению славянофильства. Однажды в каком-то журнале он напечатал подобный попури и в той же книжке поместил статейку о борзых собаках³. Встретив Михаила Александровича Дмитриева, он спросил его: «Что вы мне скажете о моей статье?» — «Да вот что, — отвечал остроязычный Дмитриев, — я все хотел у вас спросить: зачем это вы статью о борзых собаках поставили особо?» Хомяков добродушно рассмеялся.

Такое же разнообразие всякой всячины представлял и его разговор, необыкновенно блестящий и остроумный, то серьез-

ный, то шутливый. Говорил он без умолку, спорить любил до страсти, начинал в гостинной и продолжал на улице. Про него рассказывали по этому поводу забавные анекдоты. Однажды после какого-то литературного вечера Герцен, который отлился теми же свойствами, сел в свой экипаж и продолжал шумный разговор с ехавшим с ним вместе приятелем. После него выходит Хомяков, зовет кучера: нет экипажа. Оказалось, что его кучер уехал порожняком за Герценом и после оправдывался так: «Слышу, кричат, спорят; ну, думаю, верно, барин! Я и поехал за ними».

Соперничая с Герценом в блеске и находчивости, Хомяков уступал ему в добросовестности, и это делало разговор его менее привлекательным. Без сомнения, в основных своих чувствах и мыслях он был вполне искренний человек, глубоко верующий, непоколебимый в своих убеждениях; это и давало ему возможность действовать на других, даже выходящих из ряда вон людей. Но в прениях вся его цель заключалась в том, чтобы какими бы то ни было средствами побить противника. Он прибегал ко всяким уловкам, извивался, как змея, иногда сам подшучивал над предметом своего поклонения, чтобы устранить удар и показать свое беспристрастное отношение к вопросу. Пламенный патриот, видевший в русском народе властителя будущего, провозвестника новых идей, он с усмешкой говорил, что русский человек не выдумал даже мышеловки. Иногда же, припертый к стене, он не брезгал ссылкой на ложные факты и фантастическими цитатами. Про него рассказывали, что однажды, встретившись с Цуриковым, который тоже занимался богословскими вопросами, он хотел поразить его цитатой какого-то несуществующего соборного постановления. Но Цуриков, который на этот счет сам был мастер, отвечал ему тем же, и они начали бомбардировать друг друга мнимыми постановлениями соборов, над чем сами после смеялись вместе с публикою. Мне также случалось наткнуться на такого рода ссылки в спорах с Хомяковым, и это было даже одно из первых моих впечатлений при ближайшем знакомстве с ним. В 1855 году он приехал на несколько дней в Петербург, где я в то время находился. Тургенев дал для него большой литературный вечер. Зашла речь об освобождении крестьян, и Хомяков стал разглагольствовать об общинном владении как об исконном, специально русском учреждении, разрешающем все мировые задачи. Я в то время занимался этим вопросом; древние грамоты были мне хорошо известны, и я начал доказывать, что в древней России не было ничего подобного. Встретив такой неожиданный отпор и видя, что на почве напечатанных актов он со мною не справится, Хо-

мяков сослался на то, что у Киреевского есть какие-то неизданные документы, которые неопровержимо доказывают существование у нас общинного владения в древнейшие времена. Разумеется, никто этому не поверил, и Тургенев на следующий день пошел трубить об этом по городу. Сам Хомяков поспешил переменить разговор и стал доказывать, что наши инженеры не умеют защищать Севастополь. Он говорил, что писал даже об этом Сакену и послал ему описание изобретенных им снарядов для опускания пушек и для ночного освещения неприятельских траншей. Он воображал себя таким же специалистом в военном деле и в инженерном искусстве, как в философии, в употреблении барды и в борзых собаках.

Это энциклопедическое всеведение и эта неразборчивость в средствах происходили оттого, что Хомяков не был только убежденным человеком; он видел в себе предводителя партии, призванной изменить лицо мира. Его учение возносило его на высоту, с которой обозревалось настоящее, прошедшее и будущее. Никакая мелочь не должна была ускользнуть от его всевидящего ока, и все должно было служить торжеству славянофильской идеи. Нельзя было ни о чем с ним говорить, чтобы он тотчас не свернул на отношение славянофилов к западникам. Это была совершенная мания. Во всяком пустом вопросе, во всяком суждении о людях ему мерещилась коренная противоположность взглядов. Везде он видел темные интриги и каверзы, направленные против славянофилов. Он воображал, что общество их ненавидит, что бюрократия их преследует, а литература не имеет иной цели и иных стремлений, как их уничтожить. Мне случалось выражать удивление, что, вращаясь постоянно в противоположном лагере, я ничего не ведаю об этих кознях. «Это оттого, что вы стоите за редутом», — отвечал Хомяков. Между тем мне было хорошо известно, что никакого редута тут не обреталось. Когда же появлялось что-нибудь выходящее из рядов славянофильской партии, хотя бы даже вовсе не замечательное, он предавался таким восторгам, что сами его друзья приходили в недоумение. Однажды при мне Ю. Ф. Самарин, с свойственною ему ирониею, рассказывал, как Хомяков хотел обратить его к поклонению Мадонне, написанной славянофилом Мамоновым, который, будучи студентом, славился своими карикатурами, и как Юрий Федорович решительно не в состоянии был постигнуть ее красоту. Павлов, который был приятель с Хомяковым, услышав об его восторгах, полетел его допрашивать: «Правда ли, что ты Мадонну Мамонова ставишь выше Сикстинской?» — «По идее выше», — спокойно отвечал Хомяков.

Но главною его специальностью были богословские вопросы. Изданные им на французском языке богословские полемические брошюры составляют, конечно, самое значительное из всего, что он писал. За них его друзья возвели его даже в отцы Церкви⁴. В этих брошюрах выражается вся изворотливость его ума; но, вникая в них глубже, трудно усмотреть в них что-либо, кроме чисто логической гимнастики. Об исторических исследованиях, которые в деле церковного предания имеют первенствующее значение, нет и помину. Все ограничивается построением церковной истории по правилам гегельянской философии, которую Хомяков, отвергая ее, пользовался, когда было нужно, только невпопад: из начального единства сперва выделяется одна противоположность — начало власти, затем другая — начало свободы, и над обеими возвышается наконец вытекающее из первоначальной основы высшее единство — единомыслие любви, которое должно соединять все и всех. В то время эти брошюрки только что появились в печати⁵, и Кошелев мне их навязал, как нечто весьма замечательное. Я внимательно их прочел и, возвращая их на вечере у Кошелева, сказал свое мнение. Хомяков, услышав издали, что речь идет о новых его произведениях, тотчас подлетел и стал допрашивать, что я об них думаю. «Ваши брошюры повергли меня в недоумение, — отвечал я. — Вы отвергаете с одной стороны власть, как решающее начало в спорах, с другой стороны свободу, как ведущую к разногласию, и требуете единомыслия любви. Все это очень хорошо, когда оно есть; но что делать, когда его нет, как обыкновенно и случается между людьми? Ведь вы не признаете решения большинства?» — «Отнюдь нет, — отвечал Хомяков. — Тогда две церкви». — «Как две? Обе святы и непогрешимы?» — «Нет, — непогрешима только одна». — «Которая же?» — «На это нет внешних признаков, дух истины открывается только любящему сердцу. Поститесь и молитесь, и вы узнаете». — «Но тогда зачем же вы пишете полемические брошюрки; вы бы просто написали, что вы постились и молились и Дух Святой открыл вам, что Православная Церковь единая истинная. Католик будет воображать, что ему открыто совсем другое». Хомяков стал доказывать, что для единомыслия любви необходимо предварительное общее совещание. «В таком случае, на что же вы нападаете? — возразил я. — Ведь совещание было; вопрос обсуждался на Флорентинском соборе. Католики остались при одном мнении, мы при другом. Оказались две церкви, которые никакими внешними признаками не различаются и могут иметь равное притязание на непогрешимость». — Но Хомяков утверждал, что совещание было вовсе не такое, какое требуется. На-

добно было сначала прочесть старый символ веры и потом уже обсуждать вопрос об исхождении Св. Духа, как требовал Марк Эфесский. Но его не послушали и прямо приступили к прениям. Я заметил, что тут уже вопрос сводится не различию догмы, а просто к крючкотворству: надобно или сначала читать и потом препираться, или прямо препираться? К этому окончательно и сводилось все это мишурное построение, которое под внешним блеском скрывало совершенную пустоту содержания. Обвиняя Западную церковь в том, что она поставила силлогизм на место любви, славянофилы сами строили все свое богословское здание на чистых силлогизмах, и притом ложных, то есть софистике.

Ревностным приверженцем этого учения был сам хозяин дома, где собирались, — Александр Иванович Кошелев; но умственная поддержка, которую он мог дать своей партии, была весьма неважная. Я мало встречал образованных людей с меньшею способностью к теоретическим вопросам. Иногда я даже удивлялся, как человек, несомненно, очень умный в сфере практических интересов, оказывается до такой степени слабым, когда речь заходит о теоретическом предмете. Он не умел поддерживать ни одной мысли, а целиком глотал то, что клали ему в рот его друзья, повторяя одно и то же положение без малейшего доказательства. Пустота изданных после его смерти записок обличает скудость умственного содержания. В практических делах, напротив, он был смышлен и толковит, когда не увлекался своими теоретическими убеждениями. Он составил себе большое состояние в откупах, и, как говорили близко знающие люди, не совсем прямыми путями. Дела шли плохо, и Кошелев решился поставить все на карту: он на торгах снял несколько уездов, смежных с его большим винокуренным заводом, и стал производить корчемство в самых широких размерах. В результате получилось миллионное состояние, с которым он оставил откупное дело и поселился в Москве, желая разыгрывать здесь роль литературного мецената. На его средства издавались все славянофильские журналы и сборники. Он хотел также дом свой сделать литературным центром, где бы сходились славянофилы и западники. В особенности же он ревностно хлопотал о вербовке новых членов в малочисленную славянофильскую секту. Однажды он с обычною своею громкою усмешкою, походившею на рычание зверя, объявил, что он настоящего генерала уговорил надеть русское платье. И на следующий вторник я увидел в гостиной Кошелева толстого светского генерала, важно восседающего в мужицком одеянии. Это был Н. А. Жеребцов, автор пустейшей и нелепейшей книги «*His-toire de le Civilisation en Russie*»⁶. Когда в описываемое время

на сцену явился Кокорев, славянофилы хотели и этого невежественного шарлатана завербовать в свой кружок. Они всячески с ним нянчились, что и вызвало ходившее тогда по рукам стихотворение, написанное Н. Н. Боборыкиным, с заключительным четверостишием, принадлежавшим С. А. Соболевскому:

Во имя странного святого
 Устроен ваш славянский скит;
 На бочке там вина простого
 Великий Кокорев сидит.
 Пред ним коленопреклоненный,
 Не враг, конечно, откупов,
 Кадит усердно муж почтенный,
 Отец «Беседы», Кошелев.
 И воскадит ему он паки,
 Пока его не сломит рог
 Кабакомудрый Бенардаки,
 Двукрат продавший Таганрог.

Ревностный либерал, Кошелев писал проекты освобождения крестьян и, как член рязанского комитета, ратовал против представителей дворянских интересов, князя Волконского и Офросимова. Он надеялся быть членом Редакционных Комиссий и играть там выдающуюся роль. Я в это время встретил его за границею. Он купался в море и говорил мне, что постоянно получает журналы заседаний Редакционных Комиссий, которыми он отменно доволен. Но по возвращении в Россию его постигла неожиданная неприятность. Государь, который почему-то был невысокого мнения о его нравственных свойствах, отказал в назначении. Тогда Кошелев немедленно повернул фронт и протянул руку своим бывшим противникам, Волконскому и Офросимову, чтобы вместе вести атаку против Редакционных Комиссий. Он сам с удивительною наивностью рассказывает об этом в своих записках. Казалось бы, что после этого его друзья должны были сделаться с ним крайне осторожны. Однако же, когда они вместе с Милютиным призваны были к реорганизации Польши, они настояли на приглашении его в министры финансов, и на этот раз последовало согласие свыше. Однако Кошелев некоторое время колебался, боясь потерять свою репутацию либерала. Ю. Ф. Самарин, который оставался в Москве, с большим юмором описывал в письме к Черкасскому, каким образом Кошелев дал наконец свое согласие. Получивши сперва его отказ, Черкасский из Варшавы писал Самарину, чтобы тот сделал предложение Бабсту. Самарин при Кошелеве прочел это письмо. Тогда Кошелев вдруг, по своему обыкновению, крикнул на всю улицу и громовым голосом воскликнул: «Я поеду». Но и тут в самом скором времени последовал такой же

поворот фронта, как и во время Редакционных Комиссий. Будучи призван как союзник, он тотчас присоединился к врагам. В своих записках он с такою же невозмутимую наивностью рассказывает, что, приехавши в Варшаву, он встретился с Арцимовичем и тут же объявил ему, что он вовсе не клеветет Милютина, а готов действовать заодно с своим собеседником. Они подали друг другу руку и, поддержанные наместником, пошли в поход против вызвавших его друзей. И на этот раз, однако, поход вышел неудачен. Не прошло нескольких месяцев, и Кошелев в отставку вернулся в Москву, украшенный анненскою лентою, которою он очень гордился. Политическая карьера его была кончена. Напрасно он за границу печатал брошюры, доказывавшие необходимость созвать земский собор; никто им не внимал. Оставалось опять разыгрывать в Москве роль литературного мецената. Он снова стал давать деньги на издание журналов, но на этот раз сошелся уже с социал-демократами, ибо старые славянофилы окончательно от него отшатнулись. По-прежнему он старался по вторникам устраивать у себя литературные вечера, и в этих заботах был даже умилителен. В Москве давным-давно не было уже никакого литературного кружка, всякие умственные интересы заглохли, а старик все хлопотал, суетился, зазывал к себе всех и каждого, неутомимо делал визиты даже совершенно неизвестным молодым людям, открывал новые знаменитости. Скука на этих вечерах была страшная, разговор не клеился, а Кошелев все продолжал говорить о своих вторниках как о каком-то старинном и важном московском учреждении. До конца он не отставал и от общественной жизни, был гласным городской думы, и хотя по глухоте редко участвовал в прениях, но заседал в финансовой комиссии, где высказывал дельные мнения. Я был в то время городским головою и находил в нем поддержку в осторожном отношении к финансовым вопросам. Кошелев выражал даже удивление, что мы всегда спорим, когда встречаемся в гостинной, и, напротив, постоянно сходимся в Думе на практической почве.

Редко на вечерах Кошелева появлялась семья Аксаковых, которая занимала видное место в славянофильском кружке, однако с особенным оттенком. В ней преобладающим началом был доведенный до крайности патриотизм. Это была старая, отличная, чисто русская семья, в высшей степени почтенная, с живыми умственными интересами, с глубоким благочестием и с горячей любовью к отечеству. Но все эти высокие качества были извращены рьяным славянофильством.

Я вовсе не знал старика, Сергея Тимофеевича. По общему отзыву, это был самый умный и самый симпатический член се-

мый, одаренный большим здравым смыслом, с горячим сердцем, с знанием жизни и людей, хотя и он на старости лет поддался увлечениям сыновей. Из напечатанных отрывков его писем видно, как трезво и глубоко он судил о таких явлениях, как «Переписка с друзьями» Гоголя, которая своим религиозным направлением могла подкупать славянофилов и которою увлекался сын его, Иван. Под конец жизни у него проявился и довольно значительный литературный талант. Все прежние его опыты были неудачны. «Только на старости лет он дошел до искренности», — говорил про него Н. Ф. Павлов. «Семейная хроника», бесспорно, ставит его в ряды лучших русских писателей.

Далеко не таким умом и не таким дарованием обладал Константин Сергеевич; но по силе и страстности своих убеждений он сделался направляющим членом семьи. Даже отец, который в нем души не чаял, подчинился его влиянию. Это была самая чистая, возвышенная и пылкая душа. Всецело погруженный в умственные вопросы, одержимый самою пламенною любовью к отечеству, он боготворил Россию и все русское. В молодости, под влиянием кружка Станкевича, с которым он был близок, он занялся философию и заразился господствовавшим тогда гегелизмом. Но и в ту пору, как он мне сам говорил, он был убежден, что русский народ преимущественно перед всеми другими призван понять Гегеля, — дикая мысль, вполне характеризующая его взгляды. Впоследствии он совершенно примкнул к течению Хомякова, хотя оттенок гегелизма у него всегда оставался. Он русскую историю строил по всем правилам Гегелевой логики: древняя Россия представляла положение, новое отрицание, а будущая, возведенная славянофилами, должна была явиться восстановлением в высшей форме первоначального положения. Эта формула могла успешно прилагаться разве только к бороде: в древней России была борода, в новой ее сбрили, в будущем она должна восстановиться. Все же остальное, и самое существенное — литература, учреждения — никак не могло втесниться в эту схему. Сам Ломоносов, которого Аксаков избрал предметом своей магистерской диссертации, отнюдь не мог считаться чистым отрицанием. Но для Аксакова фактическая сторона была последним делом. Он уносился в облака и строил свои воздушные замки, не обращая ни малейшего внимания на действительность. Постоянно роясь в древних грамотах, он видел в них только то, что хотел видеть, закрывая глаза на все остальное. Древняя Россия была для него идеалом человеческого общежития. Самые противоположные явления одинаково приводили его в восторг — и новгородское вече, и московские цари. В вече, прототипе русского мира, он видел

совершеннейшую форму совещания, в которой господствует не юридическое начало большинства, свойственное презренному Западу, а славянское начало любви, выражающееся в требовании единомыслия. Аксаков не подозревал, что исследователи древнегерманского права то же начало единомыслия считали принадлежностью чисто германских народов. В сущности, оно свойственно всякому неустроенному обществу, где не выработались правильные формы совещаний. В Новгороде оно вело к тому, что разъяренные партии бросали противников в Волхов. Но Аксаков нимало этим не смущался; он везде видел только согласие и любовь. Точно так же и Московское государство представляло для него совершеннейший из всех образов правления — самодержавие, совещающееся с народом. Тут не было взаимного недоверия и взаимных ограничений, порождаемых внутреннею враждою. Между царем и народом установился полный союз любви: народ оставил за собою свободу мысли, а царю предоставил полноту воли, и царь, с своей стороны, одушевленный любовью, совещался с народом и действовал по его мысли. Что в Московском государстве под этими совещательными формами господствовало чисто татарское холопство сверху донизу, от первого боярина до последнего крестьянина, это Аксаков также не хотел видеть. Он строил фантастическую идиллию, не думая даже о том, что ею нарушалась та духовная цельность, которую славянофилы считали первою принадлежностью славянского племени: мысль и воля распределялись по разным органам, отношение невозможное ни при каком общественном устройстве и неизбежно ведущее к подавлению свободы мысли. Между тем эта уродливая фантазия ставилась в образец всем народам. «Нам нечего учиться у Запада, — говорил мне Аксаков, — в Древней Руси все было». Но вдруг при Петре Великом повеяло отрицанием, и вся эта идиллия рушилась. Увлеченные бессмысленным и преступным подражанием Западу верхние слои русского народа оторвались от своего корня, теперь чисто русские начала можно найти только в одном крестьянстве. На нем сосредоточились все патристические надежды и вся пламенная любовь Аксакова. Как древняя Россия представлялась ему идеалом человеческого общежития, так русский мужик был для него высшим идеалом человека. Он украшал его всеми добродетелями; мирская сходка была для него живым воплощением любви и согласия; общинное землевладение признавалось чистейшим продуктом любви, призванным примирить все противоречия, которыми терзаются западные народы. Аксаков не допускал ни малейшей тени в этой светлой картине. Однажды я рассказал ему происшествие, случившееся у

нас в деревне. Ночью, зимним путем, приехали грабители в повозке, запряженной тройкой и нагруженной всякими инструментами. Их увидели, лошадей остановили, и грабители были схвачены. Отец отправил их к становому с конвоем из крестьян; во главе был поставлен один из самых умных и надежных мужиков. И что же? Разбойники по дороге убедили их захватить в кабак, напоили их и были отпущены. Аксаков принялся с жаром защищать крестьян, утверждая, что это произошло единственно оттого, что становой — лицо правительственное; русский же народ верит только выборным. Этим способом можно было, конечно, оправдать все что угодно.

При таком нескончаемом фантазерстве, разумеется, о научной деятельности не могло быть речи. Постоянно занимаясь русской историей, Аксаков не представлял по этой части ни одного серьезного исследования. Тяжеловесная его диссертация о Ломоносове⁷ лишена всякого значения, а мелкие статьи не содержат ничего, кроме журнального разглагольствования. Он пробовал себя и на филологическом поприще, издал русскую грамматику. Но филология — наука западная, которую не заменишь доморощенными измышлениями. Буслаев обличил полную несостоятельность этой попытки⁸. Столь же мало успеха имели и его беллетристические произведения. Он написал комедию «Князь Луповицкий»⁹, с обличительным направлением, но без малейшего комизма и лишенную всякого художественного элемента. Затем он написал драму «Освобождение Москвы в 1612 году»¹⁰, которая намеренно должна была отличаться отсутствием выдающихся лиц и всякого драматизма. Главным действующим лицом являлся в ней русский народ. Эту пьесу поставили на сцену. Я был на первом представлении, которое было вместе и единственным. Скука была непроходимая, так что едва можно было высидеть до конца.

В сущности, Аксаков вовсе не имел таланта писателя. Но он говорил хорошо, с увлечением, и этим даром, в соединении с пылкостью убеждений и с чистотой характера, действовал на мало приготовленных слушателей. В устной проповеди славянофильских начал заключалось главное дело его жизни. Он первый, в сороковых годах, надел терлик и мурмолку¹¹ и в высоких мужицких сапогах разъезжал по московским гостиным, очаровывая дам своим патриотическим красноречием. Над ним подсмеивались даже его друзья, про него рассказывали разные анекдоты: например, как он в доказательство, что русский климат лучший на свете, зимою подбежал к растворенной форточке, полною грудью стал вдыхать в себя морозный воздух и тут же схватил жабу, от которой слег в постель. Но оживления в

общество он вносил немало. Как фанатик, преданный одной идее, он представлял оригинальное явление. Он очень огорчился, когда в 1849 году его, вместе с другими, заставили снять русское платье. Перед этим император Николай имел милостивый разговор с Юрием Самариным, который был посажен под арест за «Рижские письма»¹². Государь остался также очень доволен ответами арестованного в то же время Ивана Аксакова. Славянофилы возмечтали, что правительство склоняется на их сторону, и принялись усердно возвеличивать монарха, как вдруг их постиг такой неожиданный удар. Русское направление поражалось в самое сердце, в образе шапки мурмолки и высоких сапогов. Сам старик Сергей Тимофеевич опечалился не в меру и придал этому делу неподобающее историческое значение. Хомяков тотчас объяснил это по-своему, тем, что их жалует царь, истинный представитель русского народа, а гонит русское общество, зараженное тлетворным влиянием Запада. В графе Закревском славянофилы видели представителя этого развращенного общества. Все это был чистейший вздор, который напрасно повторил Д. Ф. Самарин в предисловии к 7-му тому издаваемых им сочинений брата¹³. Постоянно вращаясь во всех сферах московского общества, я могу достоверно сказать, что никакой ненависти к ним не питали. Вне литературного круга на них смотрели как на чудаков, которые хотят играть маленькую роль и отличаться от других оригинальными костюмами. Менее всего можно было графа Закревского считать представителем русского общества. Он был чистым представителем превозносимого славянофилами русского самодержавия, которое не терпело независимости мнений ни в славянофилах, ни в западниках и воспрещало всякое уклонение от принятой формы. Николай Павлович особенно на этом настаивал. Он выражал сочувствие мнениям славянофилов, когда они ополчались против западных либеральных идей, которые были ему столь же противны, как и им, но он не допускал, чтобы они при этом смели иметь свои особенные мысли и стремления. Бороды он брил всем дворянам, и я, приезжая из деревни в Москву, всякий раз должен был с нею расставаться, чему, однако, не думал придавать какое-либо историческое значение.

Гораздо умнее и даровитее Константина Сергеевича был младший его брат Иван. Изданные после его смерти «Письма из Астрахани»¹⁴, куда он поехал с ревизующим сенатором тотчас после выхода из Училища правоведения, показывают раннюю его зрелость. Он был дельный и работающий чиновник, который самые сложные поручения исполнял добросовестно и толково. К этому присоединялись нравственные качества, свойственные

всему семейству, возвышенность чувств и неуклонная прямота характера. У него был и поэтический талант, о котором свидетельствует недоконченная его поэма «Бродяга»¹⁵. Но, не имея никакой серьезной подготовки и не успевши выработать собственных убеждений, он легко подпал под влияние старшего брата. Фанатизм, более нежели ум и талант, увлекает колеблющихся. Как человек, с открытыми глазами смотрящий на практическую жизнь, он иногда подтрунивал над идеальными представлениями брата о русском мужике; но в теоретической области он ничего не мог противопоставить проповеди, которая затрагивала самые глубокие струны его сердца. Он целиком проглотил славянофильское учение и сделался ревностным его последователем. Нельзя без некоторой грусти читать те ответы, которые он написал на заданные ему в III Отделении вопросы, когда он в 1849 году был арестован как неблагонадежный человек. Недоученный правовед громит свободные учреждения и всю цивилизацию Запада, о которых не имел ни малейшего понятия. Разумеется, такое направление как нельзя более приходилось по сердцу Николаю Павловичу. Аксаков был тотчас выпущен, и ему дано было важное поручение по службе.

Скоро, однако, служебные обязанности пришли в столкновение с наклонностью к поэзии. Министр, следуя бюрократическим воззрениям того времени, не считал приличным, чтобы его чиновники писали стихи. Он предложил Аксакову выбор между службою и стихотворством. Аксаков, с благородным чувством достоинства, не хотел терпеть такого посягательства на свою независимость. Он вышел в отставку, несмотря на то, что его друзья, между прочим, Ю. Ф. Самарин, сильно убеждали его снести неприятность, и продолжать службу. Однако и поэтом он не остался. В сущности, он не имел к этому настоящего призвания. Он сам мне говорил, что для него писать стихи — все равно что плясать в кандалах. Ему эта форма казалась совершенно неестественною, между тем как настоящий поэт именно в ней находит истинное выражение своих мыслей и чувств. Кольцов с гораздо большим трудом писал прозою, которая невольно принимала у него стихотворный оборот.

Отказавшись от поэзии, Аксаков всецело предался журналистике. Он хотел быть распространителем славянофильских идей, особенно после того как главные корифеи этой партии, в том числе и его брат, сошли в могилу, а другие занялись практическими вопросами. Несколько журналов, один за другим, погибли под его смелою редакциею, подвергаясь правительственной каре; но он не унывал, возобновлял предприятие сызнова, благодаря связям получал новые разрешения и продолжал ра-

боту до самого своего конца. Нельзя не сказать, что он и к этому делу вовсе не был подготовлен, так что путного выходило весьма мало. Талант у него, бесспорно, был, и довольно значительный; было одушевление, инициатива, умение владеть языком, говорить благородною речью; когда он громил порядки прошедшего времени, он был красноречив. Успеху его много содействовало и неуклонное благородство убеждений, отсутствие всяких мелких чувств и всяких недостойных уловок. Но нравственное достоинство и литературный талант не могли восполнить коренной недостаток основательного образования и трезвого отношения к жизненным вопросам. Серьезное содержание заменялось пустозвонною славянофильскою фразою, которая повторялась и повторялась на все лады. Сначала она возбуждала внимание; легковверные даже ею увлекались; но потом она начинала нагонять скуку, а наконец от нее делалось тошно. Это нескончаемое разглагольствование о каких-то русских началах, об оторванности высших классов, о слепом поклонении Западу было тем невыносимее, что оно изливалось с самою резкою самоуверенностью, кстати и некстати. При тогдашнем положении русской журналистики надобно было серьезные и практически приложимые мысли высказывать в возможно умеренных выражениях, а тут в самой резкой форме обнаруживалась все одна и та же пустота. Черкасский, несмотря на свою близость к славянофилам и на приязнь к Аксакову, приходил в негодование от этого способа обсуждения общественных вопросов. В письме к Самарину, которое мне довелось читать, он в весьма сильных выражениях характеризует журнальную деятельность Ивана Сергеевича. Я часто говаривал, что у нас есть один умный и образованный журналист (Катков), да и тот подлец, и один честный журналист, да и тот пустозвон.

В это позднейшее время я иногда сходилсся с Аксаковым, особенно после его женитьбы на Анне Федоровне Тютчевой, с которою я уже прежде был знаком и которая приглашала меня к себе. Она была женщина очень умная и образованная, с благородным пылом, но раздражительного характера. Мужа она любила страстно, хотя во многом с ним не сходилась. В первую пору их супружества беседы с ними, когда они были вместе, бывали довольно затруднительны. Проживши весь век при дворе, она плохо говорила по-русски, и с нею надобно было вести беседу на французском языке, тогда как с ним, наоборот, неловко было говорить по-французски. Они расходились и в мнениях: «Что мне делать? — говорила она иногда с отчаянием. — Я терпеть не могу славян и ненавижу самодержавие, а он восхваляет и то и другое». Одно, в чем они вполне сходились,

это — глубокое благочестие, соединенное с искреннею привязанностью к Православной Церкви.

Такие отношения к жене, естественно, должны были развить в Иване Сергеевиче некоторую терпимость. Действительно, в частных сношениях он оказывал ее вполне. Я даже иногда ему удивлялся. Можно было беседовать с ним в течение нескольких часов самым приятным образом, как со всяким разумным человеком, и не догадаться, что у него в голове торчит неисправимое славянофильство. Он даже избегал споров. Но как только он брался за перо, он точно закусывал удила и, закрывши глаза, без всякого уже удержу пускался стремглав в свою славянофильскую болтовню. Перед самою его смертью у нас завязалась маленькая, но довольно характеристическая переписка. Он получил от министра внутренних дел предостережение за то, что один из всех русских журналистов осмелился высказать правду насчет наших отношений к Болгарии. В министерском решении его упрекали даже в недостатке патриотизма. На это он в своем журнале отвечал весьма благородно, и я написал ему из Крыма сочувственное письмо. «Не понимаю только, — писал я, — отчего вы в этой ни с чем не сообразной политике обвиняете оторванную от национальной почвы бюрократию; обвиняйте восхваляемое вами самодержавие, которое одно несет за нее ответственность. вспомните, что та национальная политика, за которую вы стоите, получила свое начало не в древней, а в новой России, и притом от немки, от Екатерины Второй. Все дело в том, что она была умная женщина и знала, чего хотела». На это он мне отвечал, что проведение национальной политики в восточном вопросе при Екатерине Второй объясняется тем, что при ней русские люди не успели еще совершенно офранцузиться или онемечиться: они переменили только кафтаны, а внутренне оставались русскими. Полное же превращение в иностранцев совершилось только в начале царствования Александра Павловича. «Помилуйте, Иван Сергеевич, — возразил я, — разве можно считать оторвавшимся от России то поколение, которое на своих плечах вынесло двенадцатый год и довело до высшей степени совершенства то духовное орудие, в котором выражается самая суть народного духа — русский язык. Ведь это — поколение Пушкина». Ответа уже не последовало; через несколько дней пришло известие о его смерти. Это был последний представитель старого славянофильства. После него оно мелькает, как блуждающие огоньки на могилах, лишенное самостоятельной жизни. <...>

